КНИГА ЗА КНИГОЙ



Анатолий Мошковский

ТРИ БЕЛОСНЕЖНЫХ ОЛЕНЯ

Издательство „Детская литература“



АНАТОЛИЙ МОШКОВСКИЙ

ТРИ БЕЛОСНЕЖНЫХ ОЛЕНЯ

РАССКАЗЫ

Москва
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Р2
М87

Впервые я увидел тундру из окна самолёта, летевшего в Нарьян-Мар — главный город Ненецкого национального округа. Неоглядная равнина с озёрами, лесами и сопками шла внизу, и она казалась мне сверху холодной, пустой и совершенно безлюдной и скучной. Я даже подумал: «Зачем я решил лететь сюда?» А потом быстрая оленья упряжка привезла меня в стойбище, и я стал жить в тундре. Я спал в чуме на оленьих шкурах, ездил в огромное стадо, грелся у железной печки, слушал рассказы и легенды. Я сдружился с пастухами, весёлыми, ловкими и отважными людьми, с их хлопотливыми жёнами, с их детьми, любопытными и, как все дети в мире, неугомонными и шумными. И чем дольше жил я в тундре, тем глубже открывалась мне её красота. И когда я вернулся домой, мне захотелось написать о том, что я видел, слышал и сам испытал в тундре. Получилась книга «Три белоснежных оленя». Она вышла в издательстве «Детская литература» в 1960 году.

Четыре рассказа из этой книги вы прочтёте здесь.

Автор

Рисунки С. Монахова



МАЛИЦА

Я долго ждал, когда из тундры приедут пастухи. Они должны были захватить меня в стойбище. И я дождался: они приехали. Старый пастух ушёл в крайний дом, а молодой поправлял на оленях упряжь. Я подошёл к нему и объяснил, в чём дело.

— Завтра едем,— сказал парень.— Очень рано.

— Идёт,— ответил я.

— А в чём поедешь? В этом? — Он кивнул на мою кепку и плащ.

— Ну да.

Ненец засмеялся и помотал головой:

— Не возьму.

Я ничего не понимал, а он минут пять смеялся. Вытирая мокрое от слёз лицо, он наслаждался моей крайней наивностью и, видимо, очень сожалел, что был один и не с кем было разделить веселье.

— В тундру так не ездят,— наконец разъяснил он мне таким тоном, каким говорят с малышами в детском саду.— Ясно? Малицу бери.

Что такое малица, я знал хорошо. Читал о ней в книгах, видел на плечах ненцев и коми. И вот теперь выяснилось, что без этой малицы мне как своих ушей не видать настоящей тундры. Малицу на время согласилась дать учительница-ненка. Утром она достала её из кладовки и принесла на кухню: огромную, из выделанной оленьей шкуры рубаху мехом внутрь, с пришитыми к ней капюшоном и рукавицами.

— Примерьте,— сказала учительница,— подойдёт ли.

Я стал было снимать плащ, но она остановила меня:

— Не надо. На плащ надевайте.

Я взял в руки большущую, тяжеленную малицу, гадая, с чего же начинать.

— Как платье, на голову,— подсказала учительница.— Это очень просто.

Я послушно сунул голову внутрь, накинул малицу на себя и в полных потёмках стал руками разыскивать рукава. Было тепло и мягко от оленьего меха. Не помню, сколько времени барахтался я внутри малицы, отыскивая рукава. Один рукав всё-таки нашёл, но второй куда-то запропастился. Голову, разумеется, нужно было просунуть в узкую горловину, соединявшую малицу с капюшоном, и голова моя наконец упёрлась в эту горловину, но вот беда: она оказалась такой узкой, что наивно было и думать, что в неё можно протолкнуть голову.

Стало жарко. Я чуть не задохнулся, открыл рот, и он мгновенно забился шерстью. Шерсть щекотала шею, ноздри, уши. После того как руки в конце концов выбрались сквозь



рукава наружу, они отлично могли бы помочь голове. Но уж слишком узкой была горловина!

Учительница между тем не бездействовала — она энергично руководила одеванием. Её голос — мои уши были туго сжаты — долетал до меня издалека:

— Не бойтесь. Смелее просовывайте голову. Пройдёт.

И вдруг раздался смех, и я сразу понял — детский смех. Никаких ребят в доме я не видел. Очевидно, они проснулись и, заинтересованные вознёй и шумом на кухне, пришли из другой комнаты. Я доставил им не меньше удовольствия, чем молодому пастуху возле упряжки. Они хохотали от всех моих безуспешных попыток протолкнуть голову. Они визжали, и плакали, и, по-моему,— хотя в точности поручиться за это не могу, так как находился в полнейшей

темноте,— катались по полу. Я на миг представил себе всю картину происходящего, и мне стало ещё жарче. Разозлившись, я изо всех сил потянул вниз малицу, и голова медленно двинулась по узкой горловине. Ещё мгновение — и я почувствовал удивительную лёгкость: голова прошла! Но всё же я немножко не рассчитал: только один глаз смотрел наружу, второй же упёрся в стенку капюшона.

Дом сотрясался от ребячьего хохота. Тогда учительница быстро повернула на мне малицу, и отверстие капюшона оказалось как раз против лица.

Хохот мгновенно стих. Ребята стояли с серьёзными лицами, и я даже подумал, не почудился ли мне этот смех. Я выплюнул изо рта клочья серой оленьей шерсти, вытер ворсинки с губ, осмотрелся вокруг и даже позволил себе сделать несколько шагов по кухне. Малица опускалась чуть не до пола. Голову плотно сжимал капюшон, и лишь глаза, нос и рот, как из водолазного шлема, выглядывали из круглого отверстия. Уши по-прежнему оставались сдавленными, и все звуки доносились до меня точно издали. Голову я поворачивал с трудом и ходил, точно аршин проглотив. Учительница сказала, что в рукавицах есть прорези и в них можно просунуть руки, что я тотчас и сделал. Во всём теле я ощущал страшную, невыносимую испарину... Проклятая малица, как только носят тебя ненцы!

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Прекрасно,— сказал я и, путаясь в полах малицы, неверными шагами двинулся к выходу. Никогда ещё я не был таким тяжёлым, неуклюжим, нескладным.

— Можете снять её пока,— сказала учительница.— Сейчас на улице тепло. А в тундре наденете.

— Спасибо, мне не жарко,— тем же тоном ответил я, чувствуя, как майка прилипла к спине.

Опять надевать эту малицу? Нет, с меня хватит. Буду обедать в ней, умываться, бриться, спать. Но чтоб снять её? Нашли дурака...

Я шёл по посёлку с рюкзаком на плече к упряжкам, шёл и спотыкался на каждом шагу. Голову повернуть я не мог

и поэтому смотрел прямо перед собой, двигаясь зигзагами. Я завидовал каждому встречному, одетому в малицу. Он представлялся мне высшим, диковинным существом, и при виде этого существа ещё острее понимал я своё ничтожество. Потом пожилой ненец позвал меня выпить перед дорогой чаю. Я не отказался и до сих пор горько сожалею об этом: пить горячий чай, не снимая малицы, в протопленном доме — удел великомучеников, и с того утра до сего дня мой интерес к чаю заметно понизился. Молодой пастух встретил меня улыбкой и что-то сказал — что, я не мог разобрать: мешал меховой капюшон. Я отодвинул его от уха и переспросил.

— Теперь порядок,— повторил парень,— теперь ты настоящий тундровик.

Я вздохнул, но постарался сделать это так тихо, чтобы он не слышал.

В дороге — ехали мы часа четыре — я так привык к малице, что почти не ощущал её. Капюшон теперь не так жал голову, и я различал звуки и даже мог полуоборачиваться не всем корпусом, а одной головой. Я запросто прыгал на нарты, быстро подбирая под себя полы малицы, чтобы она не волочилась и не пачкалась в болотной жиже. Вспомнил я о малице только тогда, когда мы приехали в стойбище и вошли в чум.

Видно, женщины давно заметили упряжки, потому что на железной печке уже темнел чайник. Печка гудела вовсю, и в чуме было так жарко, что я едва стоял на ногах. Ненцы мгновенно сбросили с себя малицы и очутились в одних пиджаках. Я уже пил чай в малице — хватит. Подражая каждому их движению, я тоже поднял голову и стал протискивать её. Но не тут-то было! Она проходила туго, и рот опять оказался полон оленьей шерсти. И снова в чуме раздался смех. Все дети тундры точно сговорились. Я дёрнул малицу так, что едва не оторвал голову. Но малица не снялась.

— Ты не дёргай, ты полегче,— сочувственно посоветовал кто-то.

Я нажал полегче, снял, бросил её к шестам чума и минуты две учащённо дышал. Потом опять выплюнул изо рта шерсть и стал отряхиваться от неё, потому что весь был щедро осыпан ею. Затем мы пили чай с лепёшками, ели вкусный холодец из оленины и разговаривали о том о сём...

Кончив чаепитие, мужчины надели малицы и вышли из чума. Я с ужасом посмотрел на свою малицу. Она лежала зловещим комом у шестов и терпеливо поджидала меня. Нет, хватит! Я вышел в одном плаще.

Резкий осенний ветер тянул от озёр и речек, и я сразу почувствовал, что меня пробрало насквозь. Повернулся спиной к ветру, встал за большие грузовые нарты с высоким деревянным ларем. Но и это не спасло. Ветер пронизывал. Я старался не думать о малице и твёрдо решил держаться до последнего. Через час мои руки совершенно окоченели, и пальцы нельзя было согнуть в суставах; появился кашель и насморк. Как обречённый, полез я в чум. К счастью, в нём никого не было.

Расправив малицу так, чтобы отверстие капюшона оказалось как раз против лица, я накинул её на себя, плотно закрыв рот и глаза. Старая история! Руки быстро отыскали рукава, но голова... Она опять застряла где-то в середине горловины — и ни с места. Вдруг я услышал шаги — кто-то вошёл в чум. Я сделал нечеловеческое усилие — голова тотчас пролезла, и я увидел, что в чум вошёл знакомый молодой пастух.

Вечером, ложась спать, я довольно просто сдёрнул с себя малицу — был некоторый навык, но всё же я долго не мог уснуть, думая, что завтра утром опять придётся натягивать её.

Встать я решил пораньше, чтоб никто не видел моих мучений. Но, когда я проснулся, жильцы чума, кроме ребят, уже были на ногах. Я поднял малицу, скрутил и шагнул из чума.

— Куда пошёл? — спросил хозяин.

— Шерсть вытрясти. Больно лезет.

— Ну, иди, иди!

Здесь, у небольшого озерка, в двухстах шагах от чума, в глубокой впадине, меня никто не видел: я расправил малицу, глотнул свежего воздуха, сунул в меховой мешок голову и, как и следовало ожидать, опять застрял в узкой горловине. Пот тёк с меня в три ручья, я пыхтел, злился, скрипел зубами, работал руками и подбородком и наконец увидел свет. Но радости не было: слишком дорого досталась победа. Я сдёрнул с себя малицу, опять накинул и снова занялся продеванием головы. Надел и сбросил. Не помню, сколько раз продолжалось это...

Через полчаса я подошёл к чуму.

— Всю шерсть выбил? — спросил хозяин, и узкие щёлки его глаз весело блеснули.

— Всю.

— Долгонько что-то!

— Так ведь шерсти было много.

— Худая, видно, малица. Лезет, как олень по весне.

— Худая...— согласился я.

Вот и всё. В обед я мгновенно сбросил малицу, и глаза у ребят на этот раз были строги и задумчивы. После обеда я так же легко надел малицу, и мы с бригадиром поехали в стадо, которое паслось в трёх километрах от стойбища.

В малице было тепло, уютно, удобно, и я до сих пор уверен, что никакая городская одежда никогда не заменит этой мудрой и простой одежды тундры — малицы.



ЛЕБЕДИНОЕ КРЫЛО

Всё было, как в настоящем стаде: одни — мальчишки-пастухи — как угорелые бегали с тынзеями[1]; другие — олени — хоркали, прыгали из стороны в сторону, увёртывались от летящих на них арканов. Пастухи хитрили: бежали наперерез оленям, пугали их криками и метко бросали тынзеи. Так ведут себя и настоящие оленеводы, когда им нужно поймать в стаде ездовых быков для нарт.

И вдруг в этой мешанине и суматохе раздался крик Женьки Канюкова:

— Упряжка!

[1] Тынзе́й — ремень с петлей для ловли оленей.

И тотчас ребята забыли, кто из них пастух, кто олень. Женька показывал рукой на гребень зелёного холма: по нему бежала пятёрка серых, впряжённых в нарты оленей.

— Плохо бегут,— сказал мальчишка с царапиной на носу.— Или быки устали, или груз большой.

Скоро все увидели на нартах две фигурки. Собаки с лаем бросились навстречу упряжке. Вот упряжка обогнула озерцо, скрылась в лощине, вынырнула, и олени вынесли нарты к самым чумам. Ребята окружили их, замолкли, разглядывая нового человека.

— Чего вытаращились? — сказал пастух дядя Ипат, слезая с нарт.— Товарища вам привёз, чтоб не скучали.

— А нам и не скучно,— заявил мальчишка с косой царапиной на носу.

— Заткнись! — Женька замахнулся свёрнутым в моток тынзеем.

Низкорослый человек, сидевший на нартах с пастухом, сдвинул с головы капюшон малицы, и на ребят глянула краснощёкая девчоночья мордашка с любопытными карими глазами. Девчонка поправила на затылке чёрные косички с бантиками и сказала тоненьким голоском:

— Голова разболелась. Ехали, как по морю.

Женька заинтересовался:

— А ты что, по морю плавала?

— Плавала,— сказала девчонка.— Из Архангельска в Нарьян-Мар на «Юшаре». Как ударит волна, как качнёт, как подбросит вверх, а потом вниз,— голова кружится и болит. А здесь вместо волн — кочки.

— Это называется морская болезнь,— заметил Женька.— Я читал. А тебя звать-то как?

— Лена.

— А я Женька,— сказал он и с размаху кинул ей руку, как это делают взрослые, знакомясь.

Мальчишки захохотали, а Женька покраснел. И, чтоб приятели не заметили смущения, он засыпал её вопросами:

— Ты городская?

— Да,— грустно сказала Лена.

— И в тундре не была?

— Нет.

— И в чумах не жила?

— Не жила.

— А ещё ненка! — засмеялся мальчишка с поцарапанным носом.

Женька уже хотел дать ему подзатыльник, но девчонка не обиделась, и всё обошлось по-хорошему.

— Я в городе родилась, откуда же мне жить в чуме?

— В чуму,— поправил поцарапанный нос.

— Ой, сколько тут цветов! — вдруг вскрикнула Лена, оглянувшись, бросилась к небольшой лужайке, опустилась на колени и стала быстро рвать лиловые колокольчики и белые ромашки.

Собрав в пять минут целую охапку, она окунула в них лицо — оно сразу заблестело от росы — и засмеялась.

Женьке почему-то стало досадно.

— Да разве это цветы? — сказал он.— Остатки одни... Весной бы приехала — смотреть больно!

— Правда? — удивилась она.

Девчонка поровней уложила в букете цветы.

— А какое тут у вас небо! — неожиданно сказала она, закинув голову.

Небо было самое обыкновенное, и Женьке хотелось поподробней узнать её мнение об их небе.

— Какое? — спросил он.

— Синее-синее! У нас такого никогда не бывает.

— Ну, вот ещё!

— Честное слово! Как стёклышко. Ясное, лёгкое. А я думала, оно везде такое, как у нас.

Женька почесал затылок.

— А сколько тут озёр! Едешь, а они смотрят на тебя, как глаза, огромные глаза великана. Добрые такие и очень смелые.

Ни разу ещё не попадались Женьке такие девчонки. В стойбище их было пять. Они качали люльки, подвешенные на ремнях к шестам, бегали за хворостом, носили с

озера вёдра с водой, шили пимы и паницы. Это были свои, привычные девчонки, и он не замечал их; а эта Ленка была странная, не похожая на всех. И небо для неё особое, и обычные озёра кажутся великаньими глазами. А на цветы как налетела! Точно первый раз в жизни видит. И глаза у неё вырезаны как-то мечтательно, грустно, и они очень ясные, доверчивые: наверно, она никогда ещё не обманывала...

В это время из чума вышла жена Ипата, увела Ленку в чум, и Женька не успел даже спросить, надолго ли она приехала, в каком классе учится, страшно ли плыть по морю и что идёт быстрей — оленья упряжка или пароход...

Вдруг его крепко дёрнуло, и он чуть не упал. Тугая петля тынзея захлестнулась на его груди. Женька взвился на дыбы, захоркал по-оленьи и понёсся в тундру: охота продолжалась. Он играл и время от времени поглядывал на чум дяди Ипата: не выйдет ли из чума Ленка, не захочет ли поиграть в их любимую мальчишечью игру?

Другие девчонки вечно строят из палочек крошечные чумики, покрывают их кусочками шкурок, внутри постилают меховые постели и укладывают тряпичных кукол, и никаким криком не докличешься их поиграть в «олени и пастухи». А Ленка может согласиться: она ведь не такая, как другие...

Но она не выходила. Несколько раз Женька нарочно пробежал возле её чума и даже остановился, сделав вид, что потерял что-то. Из чума донёсся Ленкин смех, лёгкий перезвон ложечек о стаканы — чай пьют, говор дяди Ипата, и мальчишка ещё раз пожалел, что она всё сидит в чуме. И даже рассердился на неё за это.

Ночью Женьке приснился шторм: по клокочущему морю плывёт пароход, его швыряет с волны на волну, все пассажиры попрятались внутрь, а Ленка пляшет на палубе. И чем сильней она пляшет, тем резче кренится пароход, и, очевидно, он потонул бы, если б не настало утро и Женька не проснулся бы...

Женька пил чай и думал, что хорошо бы расспросить её

про атомный ледокол «Ленин», который недавно спустили на воду,— она, наверно, знает. Но как увидеть Ленку? Почему она упорно сидит в чуме? Или она выходит тогда, когда он сидит в своём? Тысячи раз бывал Женька в жилище дяди Ипата, ничего не стоило сунуть туда голову и сейчас, но всё же было неловко: подумаешь, приехала из города девчонка, а он уже и бежит к ней! Вчера он запросто познакомился и говорил с ней, а сегодня, после всех этих мыслей и сна, в котором она отчаянно плясала на палубе кренящегося парохода, было как-то неловко.

И даже когда приятель Ванька потащил его в Ленкин чум, чтоб узнать, не привезла ли она из города книжки, Женька заупрямился, как необъезженный олень:

— Чего я там не видел?.. Не нужны мне книжки...

И Женька не пошёл. Он вернулся в свой чум, задумчивый и недовольный собой и всем на свете, лёг на шкуры, которые мать ещё не успела скатать, смотрел в мокодан — синее отверстие над головой — и долго-долго думал. Потом мать посылала его за водой, и Женька послушно бегал, и снова валился на шкуры, и смотрел на круглый клочок неба, и думал. Затем взял «Библиотечку оленевода» — книжечку с одной обложкой и четырьмя вставными брошюрками — и стал машинально листать их. Вдруг он чуть не подскочил — так внезапно раздался знакомый голос:

— Ты чего в чуме всё?

Женька страшно смутился.

На Ленке уже была не малица, а короткое чёрное платьице и синяя кофточка, и только на ногах оставались рыжие оленьи пимы.

— А ты чего?

— Ничего... Пришла вот... Знаешь, давай дружить.

У Женьки сильно забилось сердце, и он уже хотел тут же выпалить: «Давай, конечно, давай!» Но он не выпалил, а помедлил и равнодушно протянул:

— Ладно... будем...

Глаза её радостно заблестели.

Увидев над головой длинную коричневую полоску, су-

шившуюся на верёвке, Ленка от любопытства приоткрыла рот.

Женька сразу почувствовал облегчение: вот тут-то он может блеснуть! И он со всеми подробностями стал рассказывать, что с хребта убитого оленя сдирается одна такая лента сухожилий: с большого — длинная и широкая, с маленького — короткая и узкая. Она долго сушится на воздухе, потом разрывается на отдельные жильные ниточки, и женщины шьют ими обувь и одежду, шкуры, покрывающие чум, сумки и различные вещи из кожи. И в подтверждение своих слов Женька сорвал с верёвки высохшую и покоробленную ленту, отделил ногтем от края волоконце, потянул, взял один конец в зубы, другой покрутил в пальцах и показал девчонке тонкую коричневую ниточку.

— И мои пимы сшиты ими? — Она топнула ногой по латам[1].

— Ну да.

В её узких глазах заиграло веселье.

— И такими тонкими? Сочиняешь всё!

Женька протянул ей нитку:

— На, разорви.

— Пожалуйста. Считай до трёх.

Она намотала на пальцы жилку, закусила губу и, когда Женька сказал: «Три!» — дёрнула. Нитка не порвалась. Тогда Ленка стиснула зубы, дёрнула сильнее и сморщилась от боли: тонкая нитка чуть не до крови разрезала пальцы.

Женька похохатывал и ёрзал от удовольствия на латах, но Ленка так легко не сдавалась. Минут пять ещё рвала она, дёргала, тянула эту скользкую нитку. На висках её взбухла тонкая синяя жилка, лоб повлажнел, но всё было бесполезно. Тогда Ленка протянула ему нитку.

— Ничего,— сказала она и вздохнула.— Крепкая.

В чум вошла мать. Она сунула в дверцу железной печки ворох хвороста, подожгла и принялась большим и грязным птичьим крылом подметать латы. Женька заметил, что дев-

[1] Л а́ т ы — доски, настилаемые в чуме.

чонка пристально смотрит на крыло и брови её вздрагивают, точно она усиленно думает о чём-то. Ну что Ленка нашла в нём? Грязное, обтрёпанное, почерневшее от копоти, это крыло давно валялось у печки, и на него лишь тогда обращали внимание, когда нужно было подмести в чуме.

Как только мать вышла, девчонка схватила крыло и стала ощупывать и рассматривать его:

— Чьё?

— Лебедя... отец убил на озере. Мясо съели, а крылом вот подметаем...

Ленка изумлённо посмотрела на Женьку.

Потом она расправила крыло, и оно, жалкое, с истёртыми краями, похожее на тряпку, неожиданно оказалось огромным, белоснежным, упругим крылом, и даже потёртые краешки перьев не портили его. Женька сразу вспомнил живых лебедей, когда, распуганные, они поднимаются с озера и, загребая воздух могучими тугими крыльями, поднимаются вверх и уносятся вдаль. Никогда ещё, видя это потемневшее от пыли и грязи крыло, Женька не представлял живого, сильного лебедя, которому оно когда-то принадлежало.

— И вот он летит! — воскликнула Ленка, приставила расправленное крыло к плечу, замахала им и пробежала по латам, обдавая Женьку свежим ветром.

Он тихонько засмеялся. Нет, с ней не было скучно, с этой смешной девчонкой из города! С ней просто замечательно было Женьке: всё вокруг, такое обыкновенное и привычное, вдруг становилось иным.

Ленка ушла к себе, а он валялся на свёрнутой постели, веером распускал лебединое крыло и думал, что оно вправду очень красиво,— как не замечал он этого раньше? Потом Женька выбрался из чума. Ромашки и колокольчики, унизанные росой, бросились ему в глаза и обдали тонким, чуть слышным запахом. Небо над стойбищем было удивительно высокое, прозрачное, и на него, не отрываясь, можно было глядеть часами. А озёра! Они слепили его чистотой,



острой синевой, они смотрели на него своими доверчивыми ясными глазами...

Как он не видел этого раньше? Что с ним случилось? Почему так изменились тундра, небо, озёра и даже это обшарпанное крыло?

Часа три бродил Женька за стойбищем, трогал цветы и травинки, брал на зуб узкие листики полярной ивы и подолгу смотрел на бегущую, плетёную, как тынзей, струйку ручейка, с журчанием падавшую в маленькое озерцо. Мать, к счастью, никуда не посылала его, и мальчишки не звали играть. Хорошо было одному побродить по тундре, постоять, подумать, ощутить дуновение прохладного ветра...

После обеда Женька опять столкнулся с ней у ларя.

— Пошли купаться,— предложила Ленка.

Женька покраснел и пожал плечами.

— Что, не умеешь?

— Не умею...— Голос его прозвучал жалобно.

— А я хочу искупаться. Ох как хочу!

— Пойдём,— с готовностью отозвался Женька,— сейчас я позову ребят.

И скоро трое мальчишек и две девчонки шли к дальнему Утиному озеру.

День был тёплый, солнечный, и вода в озере хорошо прогрелась. И всё-таки Ленка взвизгнула от холода, когда прыгнула в озеро. Она плыла, высоко закидывая руки, и вода, расходясь в стороны, покачивала осоку. Никто из ребят плавать не умел: в тундре не принято купаться, и, наверно, поэтому все пришли поглазеть, как это можно по доброй воле влезть в воду да ещё плавать.

Однако плавала Ленка недолго. Минуты через три она выскочила на берег вся посиневшая, кожа на руках и ногах её покрылась маленькими пупырышками, и зуб не попадал на зуб. Она замахала руками, запрыгала по песку, потом отжала трусики; хохоча и напевая что-то, вприпрыжку пробежала по берегу и стала натягивать на мокрое тело платье; оно никак не хотело надеваться, и приходилось силой расправлять каждую складку.

— Ну как, холодно? — спросил Женька.

— О-очень,— выбили её зубы.

— Давай поиграем в «пастухи и олени» — сразу согреешься.

Они вернулись в стойбище. Женька дал ей тынзей и объяснил, как надо бросать: один моток держишь в руке, второй, с особой косточкой на конце, через которую пропущена петля, бросаешь; когда петля накроет жертву, нужно быстро дёрнуть к себе, чтоб захлестнуть петлю.

— Ну, я — олень, а ты — пастух! Бросай! — И Женька побежал от неё.

Ленка швырнула тынзей, ударила его в спину, и ремень, раскрутившись только наполовину, упал на землю.

— Не так бросаешь! — крикнул Женька, помогая ей сматывать тынзей.— Бросать надо чуть вперёд, а не назад... Ну, давай! — И он опять помчался от неё.

Теперь тынзей перелетел и упал справа от мальчишки.

— Целиться надо, раззява! — с досадой крикнул Женька.

— Не получается у меня, и всё!

— А ты думаешь, мы сразу так и научились? Бригадир наш, рекордсмен по метанию тынзея, думаешь, сразу получил приз? Вот с такого возраста учился.— Женька отмерил вершок от земли.— Ясно?

Раз пять бросала она тынзей, и всё неудачно.

— Я такая бестолковая,— сказала Ленка со слезами в голосе.— Давай уж лучше я буду оленем...

Олень из Ленки получился отличный. Она приставила к голове высокие ветвистые рога, сброшенные зимой важенкой, подпрыгнула по-оленьи и во весь опор полетела по тундре, перескакивая кочки и канавки, и не каждый олень, верно, обогнал бы её. Сразу три «пастуха» бросились за Ленкой: двое сзади и один наперерез — Женька. Вот он стремительно бросил тынзей. Заслышав свист, Ленка метнулась в сторону. Опять свист. Она ринулась в другую сторону, и петля скользнула по её плечу. И вновь вверху мелькнула тень — девчонка взлетела на дыбы, но было поздно: толчок — рога над головой рвануло в сторону, и мальчишка с поцарапанным носом потащил её к себе, перебирая в руках туго натянутый тынзей. Тут же её заарканил за плечи и Женька.

— А ну, уходи! — заорал на него мальчишка.— Я первый поймал её, на лету поймал, а сейчас и твой годовалый Васёк справится.

— Ну, ты... потише. Видали мы таких! — процедил сквозь зубы Женька, выпутывая девчонку из петли, и вдруг улыбнулся и похлопал её по плечу.— А олень ты хороший! Ноги быстрые и рога красивые... Ветер, а не олень!

— Ну? — обрадовалась Ленка.

— Точно.— Женька немного помолчал, потом спросил: — Согрелась?

— Ещё как! Бежим опять купаться.

И «олени» с «пастухами» поскакали к озеру.

Так Ленка стала жить в стойбище. Она ездила с дядей Ипатом в стадо, прихлопывала в знойные дни деревянной лопаточкой оводов, которые беспокоили оленей, участвовала в ребячьей экспедиции по розыску волчьих нор. Незаметно летели дни, и вот однажды она сказала ребятам:

— Ну, мне пора. Уезжаю.

И через полчаса дядя Ипат повёз её на нартах к Печоре, откуда она должна была на пароходе уплыть в свой город. Она опять была в малице и долго махала ребятам рукой, пока упряжка не скрылась за сопкой.

Женька смотрел на голую, опустевшую сопку и думал, что уехала она совсем напрасно. Жила бы здесь всегда...

Утром ему показалось в стойбище пустынно и скучно. Не звенел больше её голос, не раздавались её смех и визг. Женька нигде не мог найти себе места. Оленина не казалась ему такой вкусной, чай—таким сладким. Он ел, пил и думал о другом. Мальчишка с поцарапанным носом встретил его угрюмым взглядом и, ковыряя ножом землю, спросил:

— Ты что?

— Ничего,— ответил Женька.— А ты что?

— И я ничего,— ответил поцарапанный нос и едва слышно вздохнул.

Шли дни, и острота грусти стала сглаживаться и забываться — острота грусти по девчонке, которая ныряла в ледяном озере, ездила в шторм на пароходе, увидела в грязных, истрёпанных перьях ослепительно белое лебединое крыло, была плохим пастухом, но отличным оленем. Уехала она. Уехала. Но после себя оставила она Женьке росистые тундровые цветы, ликующе-синее звонкое небо над стойбищем и глубокие, задумчивые глаза озёр — красоту и величие мира.



ТРИ БЕЛОСНЕЖНЫХ ОЛЕНЯ

Летом в чуме было тесно, но весело, а сейчас хоть и просторно, зато тоскливо. В конце августа отец увёз в Нарьян-Мар двух сестёр в педагогическое училище и брата в школу-интернат, а Ваське ещё рано учиться. Он сидит у оконца и слушает, как потрескивает в железной печурке хворост. Мама, напевая про себя, шьёт тобоки из чёрных камусов — шкурок, снятых с оленьих ног. Ребята из соседнего чума звали его побросать тынзей на головки нарт, но Васька не пошёл: ещё год назад он редко промахивался и точно на-

брасывал ремённую петлю на головку,— пусть учится, кто не умеет.

Плохо и то, что после обеда мама уедет в город проведать ребят. И Васька останется один. Отец не в счёт. Он или дежурит в стаде, или целыми днями играет у соседей в домино и приходит сюда только есть да спать. С мамой тоже не часто удаётся поговорить—весь день она занята: то скоблит шкуры, то шьёт одежду, то печёт лепёшки и варит мясо. Мама уже старая. Сегодня утром, проснувшись, Васька услышал, как она со вздохом сказала отцу:

— Знаешь, какой сегодня день?

— Какой? — Отец стучал поршеньком рукомойника.

— Сорок мне стукнуло сегодня. Сорок лет!

— Ну? — ахнул отец, не переставая мыться.

— И оглянуться-то не успела...

— Да-а,— протянул отец, морщась от попавшего в глаза мыла.— Совсем ты у меня старуха... Ну, давай скорей чаю!

— Сейчас, сейчас,— засуетилась мама.

И Ваське стало жаль, что ей уже так много лет и она, наверно, скоро умрёт. Он даже слабенько всхлипнул в подушку.

Как-то Васька был в соседском чуме, когда там справляли день рождения тёти Насти; дядя Сеня подарил ей отрез на платье и звонкие синие бусы, шутил и смеялся, и у тёти Насти целый день не сходила с лица улыбка. Даже вёдра несла с озера — и улыбалась. Смотреть приятно было. А здесь, в их чуме, всё не так. Васька и не помнит, когда мама смеялась, шутила...

Раздался громкий шёпот:

— Вась, а Вась!

В дверях стоял Стёпка, помахивая смотанным тынзеем.

— Чего?

— Идём побросаем. Не получается у меня.

— А ну тебя! — сказал Васька и вдруг, что-то соображая, оглянулся на маму и тихонько засмеялся. Потом по-

казал Стёпке язык, влез в меховую малицу и выскочил из чума.

Достав из-под шкуры на нартах тяжёлый отцовский тынзей, он помчался к леску. Стёпка истошно кричал о чём-то, но Васька не слушал его.

Снег был глубокий, и, чтоб не провалиться, мальчик бежал по свежему следу нарт. Тобоки упирались в твёрдую, оттиснутую полозьями корку.

Стадо паслось невдалеке от стойбища. Кучками разбрелись олени среди ёлочек и берёзок, копытами разрывая снег и доставая ягель.

Залаяли собаки, и Васька быстро нашёл дежурного пастуха, дядю Андрея. Он сидел на нартах в совике[1] и тобоках — большой, насмешливый — и играл с лайками, привязанными к копылам[2] нарт.

Приняв деловитый вид, Васька с тынзеем под мышкой подошёл к дяде Андрею и сказал:

— Быков ловить пришёл.

Пастух не удивился. Не раз помогал мальчик отцу вылавливать в стаде ездовых быков, но не было случая, чтоб он пришёл один.

— А отец где?

— В домино играет.

— По-нят-но! — усмехнулся пастух и сыпанул на собак горсть снега.

Собаки взвизгнули и заплясали на задних лапах. Пастуху было скучно, и он хотел продлить разговор с мальчиком:

— А быки зачем?

— Нужны.

Васька стоял маленький и надутый: перед этим большим весёлым человеком хотелось казаться строгим и непреклонным. Но это плохо получалось. У него были пухлые губы, малиновые от мороза щёки. Две круглые черничины глаз

[1] Сови́к — одежда, надеваемая в сильные морозы поверх малицы.

[2] Копылы́ — бруски, вставленные в полозья и служащие опорой для кузова нарт.

смотрели отчуждённо, сердито, и от этого неуклюжая, в длинной малице фигурка его напоминала медвежонка, вообразившего себя взрослым медведем. Но чем сильней хотелось рассмеяться пастуху, тем серьёзней держался он.

— Хоть разрешение просишь, и на том спасибо.

Васька молчал и в упор свирепо смотрел на пастуха.

— Пожалуйста, Василь Иваныч! Может, выгнать для тебя стадо на лужайку?

— Не нужно,— буркнул Васька.

— А хочешь, я поймаю тебе быков? Отличных! А то, смотри, не справишься — руку выкрутят.

Васька поглядел на оленей, на бесцветное зимнее небо и покачал головой:

— Не хочу.

— Ну, валяй! Не маленький уже. Я в твои годы свою упряжку имел... Ездовых-то знаешь?

Васька не удостоил его ответом: кто ж из ребят не знает ездовых!

Он побежал к небольшой группке оленей, а пастух остался сидеть на нартах. Он знал: ловить оленей в стаде— дело нелёгкое и для взрослого мужчины, и непонятное упрямство шестилетнего мальчика удивляло его. Он нарочно не навязывался в помощники: забавно посмотреть, как малыш будет работать с тяжёлым тынзеем.

Васька подбежал к группке из десятка оленей, сразу нашёл ездового, белого, с чёрным пятном на спине,— его он видал в упряжке. Васька был так мал и неприметен, что занятые добыванием корма олени и внимания на него не обратили. Подбежав метров на семь — иначе не добросишь,— Васька остановился, передохнул.

Белый олень, пригнув голову, копался в глубоком снегу, ног его не было видно. Мальчик негромко хоркнул. Белый вскинул голову. Васька бросил моток тынзея. Со свистом разворачиваясь в воздухе, тынзей накрыл оленя. Рывок — и петля захлестнула рога. Олень был учёный, смирный. Привыкший к тому, что время от времени его ловят и впрягают в нарты, он и не пытался бежать. Не ослабляя

тынзея, Васька подошёл к быку. Дотянуться до рогов, чтоб снять петлю, он не мог и потянул за ремень. Олень послушно нагнул голову, и Васька привязал его за шею к кривой берёзке.

Ездовых быков в стаде было много, но он искал только белых, а белая масть встречается редко. Странное дело, но почему-то белые олени бывают слабыми, и бегать в упряжке их учат редко.

Минут десять ходил Васька от одной группки к другой, прежде чем заметил белого быка с рыжеватым ухом. Мальчик подкрался к нему, метнул тынзей — и петля задела за отросток рога. Белый закинул голову, рванулся, и петля соскользнула.

— У-у-у, чёрт! — Васька стал сматывать тынзей.

Полчаса ходил он за оленем, но тот держался настороженно и не подпускал близко. Наконец олень зашёл за кустики ивняка и, позабыв о Ваське, принялся раскапывать снег. Васька подполз к нему метров на пять и швырнул тынзей.

Петля туго затянула передние ноги. Олень прыгал, брыкался, устрашающе мотал рогатой головой, но Васька крепко держал в руках тынзей.

Сзади раздался смех. Это придало Васька отчаянную уверенность. Он бросился к быку, схватил за холодный отросток рога и гортанно крикнул. Олень тут же присмирел.

«Ещё одного, и хватит»,— подумал Васька, привязывая оленя к берёзке. И вдруг он увидел третьего белого быка.

Огромный, он вёл себя так, точно Васьки и на свете не существовало. Бык увидел его, но спокойно продолжал пастись. Васька двинулся к нему. И сам не понимал зачем. Даже отец редко ловил этого быка в упряжку — до того крутой был у него нрав.

«А я поймаю...— вдруг решил Васька и закрыл от страха глаза.— Подкрадусь, брошу получше тынзей — и поймаю! А сорвётся так сорвётся, не затопчет же он меня!..»

Петля мелькнула над быком. Он заметил её тень и ри-



нулся вперёд. Васька дёрнул за ремень. Бык не успел проскочить петлю. Она опоясала его, туго врезавшись в живот. «Плохо! — мелькнуло в голове у Васьки.— Когда зацепишь за рога, олень быстро устаёт и не тянет так сильно, а когда петля перехватит живот — плохо!»

Бык бешено хоркнул, взбрыкнул задними ногами и помчался из леска в открытую тундру.

— Стой, дьявол! Стой! — закричал Васька, едва поспевая за оленем, и покрепче намотал на руку тынзей.

Бык бежал всё быстрей и быстрей. Васька споткнулся о кочку, упал в снег и поехал на животе. Когда ремень чуть ослаб, он вскочил, но опять зацепился за что-то, грохнулся, и олень потащил его на боку. В рот набился снег. Его швы-

ряло с живота на спину, с бока на бок. А скорость всё возрастала...

«Отпущу тынзей»,— подумал Васька. Но другой голос шепнул: «Нельзя, не смей! Какой же ты тогда оленевод! И дядя Андрей смотрит...» Он опять попытался встать на ноги, упереться в кочку и удержать быка. Но подняться удавалось на мгновение, и тотчас его опять сбивало с ног, и он катился по тундре, подпрыгивая на буграх, проваливаясь в ямы и лощинки. Тынзей резал руку, дёргал — вот-вот совсем выдернется... Но Васька не отпускал ремня.

Он не помнил, сколько времени волочил его так олень, только вдруг ощутил: скачка прекратилась. Неужели тынзей оборвался?

Собрав последние силы, Васька поднялся на ноги. Голова закружилась, и он, не устояв, повалился в снег. Откуда-то издали, не то с неба, не то из-под земли, доносился голос дяди Андрея.

Васька стиснул зубы, кое-как встал. Опять всё закачалось, поплыло перед глазами, он зашатался и, чтобы не упасть, встал на колени. Постоял так минуты две. Потом поднялся и огляделся.

Вот тебе и на! Тынзей совсем не оборвался. Олень, кружа по тундре, замотал его за куст ивы, запутался и неподвижно застыл, точно кто-то сильный и уверенный поймал его и он подчинился ему.

Когда Васька ремешком обвязывал шею быка, к нему подъехал дядя Андрей.

Мальчик чувствовал боль во всём теле: ныли от ушибов колени и локти, ломило спину, а бока, казалось, покрылись сплошным синяком.

— Жив?

Васька промолчал. Он не был уверен, что в силах пошевелить губами. Он повёл оленя к пойманным раньше быкам, и пастух на упряжке поехал рядом.

— Садись, подвезу,— сказал он, видя, что мальчик собирается пешком вести оленей к стойбищу.— Вмиг домчимся.

— Ноги имею,— ответил Васька.

— А для кого это ты ловишь белых? Не за невестой ли едешь?

— Ага,— буркнул мальчик.

Пастух отъехал в сторону, а Васька, сохраняя величайшую серьёзность, повёл оленей к стойбищу. Крупные и сильные, они покорно шли за ним, крошечным и надменным. Там он запряг их в нарты матери, небольшие и лёгкие, с гнутым верхом у задка, спрятал под шкуру отцовский тынзей и пошёл к чуму.

За невестой ему ехать, конечно, рановато. Но если один человек хочет сделать приятное другому человеку, и особенно если этот человек — женщина, в тундре принято впрягать в нарты стройных и крепких, одной масти оленей, и лучше всего, если они белые. Белые-белые как снег!

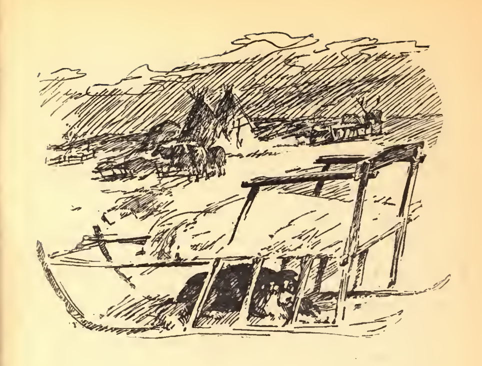
Тело ещё ныло, но боль теперь скорей была похожа на усталость.

Отряхнув от снега тобоки и малицу, Васька вошёл в чум и сел на шкуры у окошка. Мама, всё ещё шившая обувь, зачем-то вышла на улицу. Вернулась она с сияющим лицом и бросилась к ящику с одеждой — собираться.

Через час пришёл отец: близился обед.

— Иванко,— сказала мама отцу, и голос её дрогнул,— давно на таких не ездила! Никогда не забуду этого!

Отец высморкался и снял с печки чайник. Увидев расцарапанное в кровь Васькино лицо, вздохнул, задумался и ничего не сказал. Обедали молча. А после обеда мама уехала к дочерям и сыну в город — уехала на трёх быстроногих, на трёх белоснежных оленях.



КАТЫШ

В солнечный день Катыш лежит, свернувшись возле чума, и дремлет; в дождь и сильный ветер его место под грузовыми нартами, а в холодные зимние ночи он вползает в чум, подбирается к железной печке, и его никто оттуда не выгоняет. Обедая, бригадир бросает ему жилистые куски мяса и кости с высосанным мозгом, а убив оленя, даёт Катышу кишки и, если другие собаки, что помоложе, пытаются утащить его еду, гортанно кричит на них, хлещет тынзеем, и собаки отбегают.

Катыш поест, оближет передние лапы, зевнёт и опять спокойно уляжется на траву перед чумом.

Он стар. Ему уже за пятнадцать лет. Человек в таком возрасте считается подростком и не очень-то разбирается в жизни, а для собаки это преклонный возраст, и далеко не каждая доживает до таких лет. Вот почему у Катыша се-

дые усы, щёки дряблые, отвисли, глаза постоянно слезятся и смотрят печально и тускло. И когда, лёжа возле чума, он видит, как молодые оленегонные лайки по приказу пастуха с заливистым, ошалело радостным лаем подгоняют к чуму стадо, Катыш не может улежать. Он вскакивает и тявкает на приближающихся оленей. Но это стариковское, хриплое тявканье не доносится до них. Катыш порывается броситься на помощь молодым лайкам, но в ногах — слабость, ломота: они плохо подпирают его. Да и трудно ему подолгу высоко держать голову.

Он тяжело опускается, и только жёлтый хвост его нетерпеливо бьёт по земле: до чего ж бестолковые эти псы! Лая много — дела мало: надо сбить оленей в плотное стадо, а они раскололи его на кучки и гоняют. «Ох, и не вовремя постарел ты, Катыш!» — думает он. Так и хочется куснуть за загривок одного-другого несмышлёныша.

Он щёлкает зубами, взвизгивает и тоненько воет.

Наконец он устаёт от своих раздумий, медленно опускает на лапы голову и грустно смотрит на тундру, где когда-то родился, беспомощный и слепой, где вперевалку, неуклюже ходил на кривых лапах. Потом у него прорезались глаза, и он играл на травке у чума с другими щенками, кусался, повизгивал, боролся, прыгал. Когда чуть подрос и окреп, его стали пускать в стадо, но он был глуп и непонятлив. Почуяв простор, носился он по тундре, гонял и хватал зубами задние ноги быков и ликовал от одного чувства, что олень, такой большой и сильный, закинув на спину рога, удирает от него, крошечного и безрогого.

И однажды он загонял белоногую важенку: она в колдобине сломала ногу. Хозяин дико гаркнул на него и так исхлестал кожаным тынзеем, что на спине вспух багровый рубец, и Катыш тоненько скулил и два дня не мог уснуть. После этого случая его привязали за ремешок к старой, опытной лайке Жучке, и, когда та повторяла все приказы пастуха — собирала или гнала в нужную сторону стадо,— Катыш катился за ней и помаленьку набирался ума-разума.

Шли дни, недели, годы... Из маленького щенка Катыш

превратился в крупную, сильную собаку с широкой, твёрдой грудью, мускулистыми лапами и острыми клыками. Летом, когда чумы стояли недалеко от моря, он слушал тяжёлые, равномерные удары прибоя и смотрел на странную сине-зелёную, без единого деревца и кустика, тундру, которая при сильном ветре вся покрывается крутыми сопками, а при затишье становится гладкая, как столик, за которым хозяин пьёт чай.

Зимой чумы стояли в лесу, и Катыш бегал, утопая в снегу, от дерева к дереву, пригоняя далеко ушедших оленей, и среди деревьев было тепло и тихо. А потом волки... При одном воспоминании о волках дыбом встаёт на загривке шерсть. Он кидался на них грудью, норовя клыками поймать горло. И немало на старом, сухощавом теле Катыша глубоких, затянувшихся ран, заросших рубцов, и, если хорошенько погладить его по шерсти, пальцы нащупали бы эти бугорки, ямки и рубцы. Но хозяин его — человек строгий, неразговорчивый и редко гладит собаку.

Катыш лежит у чума, смотрит в тундру, и в его желтоватых, выгоревших и помутневших глазах светится спокойная, устоявшаяся мудрость. Вот хозяин, сидевший рядом с ним, ножом разбил оленью кость. Тёмно-розовая палочка мозга задрожала в его ладони. Он поднёс её ко рту, но, заметив Катыша, бросил ему вместе с костью.

— Кушай, старик, кушай. Ты у нас на пенсии сейчас, можно сказать. Кушай.

И Катыш послушно глотает мозг, потом с достоинством берёт кость, ложится и начинает медленно грызть её.



СОДЕРЖАНИЕ

Малица 3
Лебединое крыло 10
Три белоснежных оленя 21
Катыш 29

Мошковский А. И.

М87 Три белоснежных оленя. Рассказы. Рис. С. Монахова. М., «Дет. лит.», 1975.

32 с. с ил. («Книга за книгой»).

Рассказы о тундре («Малица», «Лебединое крыло», «Три белоснежных оленя» и «Катыш»).

М $\frac{70802-066}{М101(03)75}$ 242—75 Р2

Цена 7 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В серии «Книга за книгой» в 1975 году
выходят следующие книги:

Кожевников В. **ТРАССА**.

Рассказ о строителях трассы

Марков Г. **ДЕД ФИШКА**.

Рассказ о борьбе партизан против белогвардейцев

Смирнов С. **ПОДВИГ МАЙОРА**.

Рассказ о героических защитниках Брестской крепости.

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребительской кооперации.

Для младшего школьного возраста

Анатолий Иванович Мошковский

ТРИ БЕЛОСНЕЖНЫХ ОЛЕНЯ

Ответственный редактор *Л. М. Доукша*. Художественный редактор *М. Д Суховцева* Технический редактор *Г. Г. Стан*. Корректор *Э. Н. Сизова*. Сдано в набор 5/IX 1974 г. Подписано к печати 8/XII 1974 г. Формат $60\times90^1/_{16}$. Бум. типогр. № 2. Усл. печ. л. 2. Уч.-изд. л. 1,57. Тираж 750 000 экз. Заказ № 3393. Цена 7 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М., Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.